

Пустая колыбель



Эдуард Сероусов

Эдуард Сероусов
Пустая колыбель

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Пустая колыбель / Э. Сероусов — «Автор», 2026

На отдалённом полигоне в пустыне Невады целый взвод одновременно теряет сознание — и погружается в невозможный сон: тридцать человек дышат одной грудью, тридцать мониторов ведут одну линию. Единственный, кто устоял, — солдат, которого собирались списать за аритмию, ПТСР и заикание. Нейрофизиолог Наталья Волкова, десять лет назад похоронившая мужа в собственном эксперименте, приезжает разобраться — и обнаруживает, что среди уснувших лежит её сын. За серебряной плёнкой, накрывающей небо, скрывается древняя раса, которая когда-то отполировала себя до пустоты и теперь пришла украсть у людей то, что вырезала в себе сама. Волковой предстоит понять, кого именно эта тишина не берёт — и какой ценой её можно разорвать.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Ровный ритм	5
Часть вторая. Пыль, которая слушает	10
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Эдуард Сероусов

Пустая колыбель

Часть первая. Ровный ритм

Первым, что услышал Бен Тейт, очнувшись, была тишина мониторов — и в этой тишине его собственное сердце, бьющееся неправильно.

Он лежал на спине. Потолок лазарета был выкрашен той казённой белизной, которая существует только на военных базах и в моргах, и Бен долго смотрел на неё, прежде чем понял, что смотрит. Мысли собирались медленно, как вода в пробитом ведре. Он помнил построение. Помнил рассвет над полигоном — странный рассвет, слишком серебряный, будто небо натянули из фольги. Помнил, как сержант Кроу поднял руку, чтобы что-то сказать, и не сказал. А дальше — провал. Не сон. Провала во сне не бывает; сон оставляет швы, обрывки, ощущение прошедшего времени. Здесь времени не было вовсе. Как будто кто-то вырезал кусок и склеил края.

Бен сел. Голова закружилась, и он ухватился за холодную раму койки. Только тогда он увидел остальных.

Палата была длинная, коек на двадцать, и все они были заняты. Его взвод. Весь. Они лежали ровными рядами, лицом вверх, руки вдоль тела — не как спящие, спящие сваливаются набок, поджимают колени, прячут лицо. Эти лежали ровно. Одинаково. Как будто кто-то один раз уложил их правильно и они больше не двигались. Грудные клетки поднимались и опускались, и Бен, глядя на них, вдруг понял, что его так пугает.

Они дышали в такт.

Двадцать человек, вдох и выдох, одной волной. Он смотрел, как поднимаются одеяла — все сразу, до последнего сантиметра, — и опускаются все сразу, и между вдохами не было ни малейшего разнобоя, той человеческой неровности, из которой состоит любая комната, где спят люди. Он задержал дыхание, чтобы проверить себя. Одеяла продолжали ходить. Вверх. Вниз. Метроном из плоти.

Над каждой койкой висел кардиомонитор, и все мониторы вели одну линию. Один и тот же зубец, одна и та же высота, в одну и ту же долю секунды — двадцать сердец, слитых в один пульс. Зелёные росчерки на чёрных экранах вздрагивали синхронно, как хор, поющий по одной руке.

И только один монитор сбивался.

Бен повернул голову к своему. Его линия шла криво — вздрагивала не вовремя, пропускала удар, спешила, спотыкалась. Аритмия. Та самая, за которую его полгода гоняли по кабинетам, из-за которой в личном деле стояла пометка, из-за которой майор Холлис при каждой встрече смотрел на него так, будто уже подписал бумагу о списании. *Негоден к строевой. Сердце как у старика. ПТСР. Заикание.* Бракованный боец Бен Тейт, которого держат в части только потому, что бумаги ходят медленнее людей.

Его сердце било вразнос — и билось. Одно на всю палату, живое своей полумокрой.

Он хотел позвать кого-нибудь. Открыл рот — и горло свело знакомой судорогой, той, что всегда караулила его на взрывных согласных.

— П-п-... — сказал Бен в тишину. — П-помогите.

Двадцать грудных клеток поднялись разом. Опустились разом. Никто не проснулся.

Вертолёт шёл низко над пустыней, и от вибрации у Волковой ныл старый шрам на левом запястье — тонкая, глянцевая полоса ожога, которую она за десять лет научилась не замечать почти всегда. Почти. В дурную погоду и в дурные дни рубец просыпался первым, раньше её самой.

Сегодня был дурной день. Она поняла это ещё в аэропорту Лас-Вегаса, когда её встретил не тот человек, которого обещали.

— Доктор Волкова? — Молодой офицер в форме, которую она не умела читать, забрал у неё сумку прежде, чем она успела отказаться. — Капитан Наир, медицинская служба. Спасибо, что согласились так быстро.

— Мне не оставили выбора, капитан. — Она села в вертолёт, пристегнулась одним движением, как человек, который делал это тысячу раз. — В повестке было слово «национальная безопасность» и подпись, которую я не смогла разобрать. Обычно за этим стоит либо очень большая ошибка, либо очень большая глупость.

Наир не улыбнулась. Это Волковой понравилось — она не доверяла людям, которые улыбаются на работе.

— Тридцать один человек, — сказала капитан, когда машина поднялась. — Целый взвод. Все в один момент, одновременно, потеряли сознание на утреннем построении. Двенадцатое июля, шесть сорок утра. С тех пор — четвёртые сутки. Жизненные показатели в норме. Реакция зрачков есть. На боль не реагируют. ЭЭГ... — Она запнулась, и Волкова отметила эту запинку, подшила её к делу. — ЭЭГ вам лучше посмотреть самой. Я двенадцать лет в неврологии. Я такого не видела.

— Токсины? Газ? Возбудитель?

— Кровь чистая. Воздух чистый. Вода чистая. Мы прогнали всё, что умеем гонять. — Наир смотрела в иллюминатор, на бегущую внизу растрескавшуюся землю. — Поэтому вызвали вас. Мне сказали, вы — лучший специалист по сознанию в стране. По границам сознания.

— Мне говорили это и раньше. — Волкова закрыла глаза. Шрам горел. — Обычно перед тем, как что-нибудь сломать.

Она не спросила имён пострадавших. Ей дали список ещё на земле, и она сложила его вчетверо, не читая, и сунула во внутренний карман, к часам, которые не носила на руке, потому что они стояли, и которые всё равно возила с собой десять лет. Она была человеком, который читает данные раньше людей. Это было её правило, её защита и её грех: сначала цифры, потом лица. С цифрами не бывает больно.

Полигон вырос из пустыни внезапно — низкие бетонные ангары, антенное поле, посадочная площадка, обведённая жёлтым. Пока садились, Волкова смотрела на почву. Что-то в ней было не так — какой-то оттенок, металлический отблеск между кустами полыни, будто в песок подмешали толчёное зеркало. Она подумала: слюда. Она подумала: усталость. Она ошиблась дважды.

Лазарет встретил её тем самым запахом — антисептик поверх человеческого тепла, — и той самой тишиной, о которой предупреждала Наир и в которую всё равно нельзя было поверить, пока не услышишь.

Волкова остановилась в дверях длинной палаты.

Она повидала комы. Она построила карьеру на комах — на тех, кто ушёл за порог сознания и не вернулся, на тонкой, светящейся полосе между «здесь» и «нигде», по которой она когда-то мечтала водить людей обратно, к жизни. Кома — это беспорядок. Кома — это тело, потерявшее дирижёра: каждый орган играет своё, сердце спешит или отстаёт, дыхание рвётся, мозг вспыхивает случайными зарницами. Кома некрасива и несимметрична, как всё живое.

То, что лежало перед ней, было красиво. И от этой красоты у неё похолодели ладони.

Тридцать человек дышали одной грудью. Мониторы вели одну линию. Даже пальцы на одеялах — она подошла ближе, не веря себе, — даже пальцы у некоторых лежали одинаково согнутыми, под одним углом, будто их расставил один скульптор. Это был не взвод больных. Это был один организм, надетый на тридцать тел.

— Видите, — тихо сказала за спиной Наир. — Я же говорила.

— Кто из них очнулся? — Волкова не обернулась.

Наир вздрогнула.

— Откуда вы...

— Потому что одна койка застелена. — Волкова кивнула на пустую кровать у окна, единственную с откинутым одеялом, с вмятиной на подушке от головы, которая думала и ворочалась. Живая вмятина. — Кто?

— Рядовой Тейт. Бен Тейт. Пришёл в себя вчера к вечеру, один из всех. — Наир помолчала. — Его, вообще-то, готовили к списанию. Сердце, нервы. Он... не лучший наш солдат, если честно. Заикается. Мы перевели его в отдельную палату, он паникует рядом с ними. Говорит, они дышат неправильно.

— Они дышат слишком правильно, — сказала Волкова. — Он единственный, кто это заметил, и единственный, кто очнулся. Запомните это, капитан. Может оказаться, что это одно и то же.

Она сама пока не понимала, почему сказала это. Слова опередили мысль — так иногда бывало, когда её усталый, набитый чужими мозгами мозг видел узор раньше, чем успевал его назвать. Она отложила фразу в сторону, к списку в кармане, к часам. Потом. Сейчас — данные.

Ей отвели закуток с двумя мониторами и кофеваркой, и она провела над записями ЭЭГ шесть часов, не заметив, как село солнце.

Мозг говорит электричеством, и Волкова всю жизнь читала эту речь. У здорового бодрствующего человека энцефалограмма — разноголосица: альфа спорит с бетой, лобные доли перебивают затылочные, левое полушарие не слушает правое. Хаос. Прекрасный, необходимый хаос, из которого рождается «я»: то, что спорит само с собой, и есть личность. У её пациентов в коме этот хор распадался, гас, разбредался — но каждый гас по-своему.

Здесь хор пел в унисон.

Она наложила тридцать одну запись друг на друга, ожидая увидеть кашу из тридцати одной линии. Увидела одну. Линии совпали. Не приблизительно — до милливольта, до миллисекунды. Тридцать один мозг генерировал один и тот же паттерн, синфазно, как если бы это был не тридцать один человек, а тридцать одна антенна, принимающая одну станцию.

Такого не бывает. Даже у близнецов. Даже у одного человека дважды подряд. Мозг — самая индивидуальная вещь во вселенной; двух одинаковых не существует, как не существует двух одинаковых отпечатков грозы. А тут их было тридцать один.

Волкова откинулась на спинку стула. Кофе давно остыл. Шрам на запястье тлел ровным, тупым жаром.

— Это не болезнь, — сказала она вслух, пустому закутку. — Болезнь ломает. Это не ломает. Это... настраивает.

И где-то на дне сознания, там, куда она десять лет не заглядывала, шевельнулось слово, которое она построила когда-то и похоронила вместе с мужем. Синхронизация. Она встала, чтобы не думать о нём, и пошла обратно в палату — просто пройти между коек, просто посмотреть на людей, а не на линии, хотя всё в ней сопротивлялось этому, потому что смотреть на людей было больно, а на линии — нет.

Она сунула список обратно в карман, не дочитав. Не сейчас. Сначала — тот, кто очнулся.

Рядового Тейта держали в отдельной комнатухе — бывшей смотровой, — потому что рядом с уснувшими товарищами его начинало трясти. Волкова вошла и увидела молодого парня, сидящего на койке с подтянутыми к груди коленями, спиной к стене, лицом к двери. Так сидят люди, которые больше не верят, что опасность приходит спереди.

— Рядовой Тейт. Я доктор Волкова. Я не из вашего начальства. Я по мозгам.

Он поднял на неё глаза — светлые, воспалённые от недосыпа — и попытался ответить, и она увидела, как судорога перехватила ему горло на первом же звуке.

— Н-н-... — Он зажмурился, переждал, начал заново медленнее. — Не спрашивайте, что случилось. Я н-не знаю. Я всё время говорю, что не знаю, а мне не верят.

— Я не буду спрашивать, что случилось. — Она села на табурет, не близко, оставив ему воздух. — Я спрошу другое. Как вы спали в ту ночь? До построения. Хорошо?

Он моргнул. Вопросы такого ему, видно, не задавали.

— П-плохо, — сказал он. — Я всегда плохо сплю. Т-таблетки не берут. Сердце частит, просыпаюсь. В ту ночь тоже. Раз четыре вставал. — Он невесело усмехнулся. — Сержант Кроу шутил, что из меня караульный лучше, чем солдат, — всё равно не сплю.

— А сны? Серебряное небо. Отражение, которое стоит, когда вы двигаетесь.

Тейт замер. Потом медленно покачал головой.

— Н-нет. Я такого не видел. — Он посмотрел на неё с внезапным, почти детским вниманием. — А должен был? Другие видели? Наши?

Волкова не ответила. Она смотрела на монитор, приклеенный к его пальцу, — маленький пульсоксиметр, — и на то, как скачет на нём цифра. Шестьдесят два. Пятьдесят восемь. Семьдесят один. Пятьдесят пять. Сердце Бена Тейта не желало держать ритм. Оно спотыкалось, частило, замирало и срывалось вновь — некрасивое, болезненное, тревожное сердце, из-за которого его собирались списать.

Единственное сердце на всём полигоне, которое не легло в общий такт.

— Рядовой, — сказала она медленно, складывая мысль вслух, потому что мысль была слишком большой, чтобы держать её в себе, — вам когда-нибудь говорили, что с вами что-то не так? Что вы... сломаны?

Он опустил взгляд. Плечи ушли вперёд.

— Каждый д-день, мэм, — сказал он тихо. — В личном деле так и написано. Негоден. Аритмия, нервы, з-заикание. Майор Холлис говорит, я балласт. — Он сжал колени. — Может, и правда. Все спят как... как будто им хорошо. А я тут трясусь один.

Волкова долго молчала. За стеной, в большой палате, тридцать человек дышали одной безупречной грудью, спали одним безупречным сном, и им, наверное, действительно было хорошо — тем страшным хорошо, которого она не пожелала бы и врагу.

— Послушайте меня, Тейт, — сказала она наконец, и голос у неё сел. — Я не знаю ещё, что тут происходит. Но я знаю одно. Все, кто был «в норме», лежат за этой стеной и больше не приходят в себя. А вы, «балласт», сидите тут и разговариваете со мной. — Она встала. — Не позволяйте себя чинить. Слышите? Что бы вам ни предложили. Ваша поломка только что, возможно, спасла вам жизнь. Я пока не понимаю почему. Но я это выясню.

Она вышла, не дав ему ответить, потому что за дверью её ждала койка двенадцать, а от того, что она сказала Бену Тейту, у неё дрожали руки.

Теперь она достала список до конца. Вела пальцем сверху вниз, по алфавиту, и палец шёл ровно, профессионально, пока не дошёл до буквы «В».

Волков, Артём Ильич. Сержант.

Она нашла его по номеру, потому что искать по лицу не смогла — глаза отказывались, соскальзывали. Койка двенадцать, у стены. Табличка в изножье: ВОЛКОВ А. И. И на подушке — лицо, которого она не видела десять лет, кроме как на присланной кем-то однажды фотографии в форме, которую она не смогла ни выбросить, ни поставить на стол.

Он стал мужчиной. Вот что ударило первым — не болезнь, не синхрония, а то, что мальчик, хлопнувший десять лет назад дверью, лежал перед ней взрослым мужчиной с чужими, обветренными пустыней морщинами у глаз и с отцовской линией рта. У Ильи был такой рот. Упрямый в углах.

Волкова стояла над сыном и не могла заставить себя сесть.

Десять лет назад она сказала ему — не подумав, в ту чёрную неделю, когда хоронили Илью и всё внутри неё было выжжено, — она сказала: «Ты не понимаешь в этом ничего». Про интерфейс. Про то, что убило его отца. Она хотела сказать: не вини себя, ты не мог знать. Вышло: ты глуп, замолчи. Он услышал второе. Он всегда слышал в ней второе, худшее, — может, потому что она сама в это второе верила. Через месяц он подписал контракт. Ушёл в ту самую армию, от которой она его отговаривала всю жизнь, ушёл в пустыню, к оружию, к чужим людям, — лишь бы подальше от матери, чья работа убивает.

И вот работа догнала его и здесь. Она ещё не знала как. Но она уже знала — знанием, которое было древнее и вернее логики, — что то, что лежит на этих тридцати одной койке, как-то связано с дверью, которую она однажды построила. Двери не забывают, кто их сделал.

Она наконец села. Взяла его руку — тёплую, тяжёлую, с мозолями, которых у её мальчика никогда не было. Она держала эту руку и ждала — сама не зная чего. Может быть, тика. Артём с детства щёлкал колпачком ручки, когда нервничал, — отцовская привычка, доставшаяся по наследству, как рот; палец сам собой отбивал этот щелчок даже во сне. Она ждала, что палец дрогнет. Что в нём проснётся хоть капля той неровности, из которой она его когда-то собрала.

Палец лежал ровно. Совершенно ровно. Как у всех.

И глядя на эту ровность, Волкова с ужасом, поднявшимся откуда-то из живота, поняла то, что весь день ходило вокруг неё и не давалось в руки.

Ровность — это и была болезнь. Её сын был не спящим. Её сын был *настроенным*. И где-то там, за этим гладким, симметричным, безупречным сном, кто-то очень терпеливо стирал в нём всё, что делало его щёлкающим колпачком, упрямым в углах рта, её.

Часть вторая. Пыль, которая слушает

Городок Эхо-Спрингс состоял из одной улицы, заправки, закусочной с названием, выгоревшим до трёх букв, и церкви, в которую, судя по стоянке, ходили по привычке, а не по вере. Волкова приехала сюда на второй день, потому что данные привели её сюда, а она всегда шла за данными, даже когда они уводили в места, где ей не хотелось быть.

Данные были такие: в ночь перед инцидентом на полигоне жители Эхо-Спрингс видели сон. Один и тот же.

Она узнала это случайно — Наир упомянула, что местная фельдшерица жаловалась на наплыв людей с бессонницей и «нервами». Волкова поехала проверить, ожидая массовой истерии, коллективного внушения, чего угодно объяснимого. Она села в закусочной, заказала кофе, который не собиралась пить, и за час поговорила с девятью посетителями.

Семеро из девяти видели серебряное небо.

Не «что-то блестящее». Не «странный сон, не помню». Они описывали одно и то же, разными словами, и от совпадения слов у Волковой снова холодели ладони — эта реакция стала за два дня почти постоянной. Небо, как ртуть. Небо, которое висит слишком низко и в котором отражаешься ты сам — но отражение стоит неподвижно, когда ты двигаешься. «Как будто там, наверху, была моя копия, — сказала официантка, немолодая женщина с усталым добрым лицом, — и она ждала, пока я замру, чтобы поменяться со мной местами». Она засмеялась, произнося это, потому что днём, при солнце, это звучало глупо. Волкова не засмеялась.

— В какую ночь? — спросила она.

— Да вот аккурат перед тем, как у вас там на базе что стряслось. С одиннадцатого на двенадцатое. — Официантка долила ей кофе, которого Волкова не пила. — А вы правда доктор? По снам?

— По тому, что снам предшествует, — сказала Волкова. — Скажите, а сияние в ту ночь было? Над пустыней, в сторону полигона?

Женщина замерла с кофейником.

— Было, — сказала она тихо, будто признаваясь. — Серебряное. Всю ночь. Мы думали — учения. У вас же там всегда что-то светит.

На выходе из закусочной её остановил ещё один человек — пастор здешней церкви, пожилой, с добрым и растерянным лицом человека, которому вера последние дни отвечает хуже обычного. Он видел, как она расспрашивает, и подошёл сам.

— Вы с базы, — сказал он. — Про сны спрашиваете. — Он помолчал, подбирая слова, и слова давались ему трудно. — Я сорок лет служу, доктор. Я слышал тысячу снов. Люди приходят и рассказывают, каждый — своё. Свою мать, свой страх, свой грех. Сны — они как отпечатки пальцев, у каждого один. — Он посмотрел на неё выцветшими глазами. — А в это воскресенье ко мне пришли одиннадцать человек. И у всех был один сон. Одинаковый, слово в слово. Такого не бывает, доктор. Люди не видят одинаковых снов. — Он понизил голос. — Мне снилось, что наверху стало тихо. Так тихо, как не бывает. И в этой тишине мне было... хорошо. Вот что меня напугало. Что мне было хорошо.

Волкова записала и это — не в блокнот, в ту внутреннюю картотеку, где уже лежали список, часы, слова официантки. *Им было хорошо*. Она начинала понимать, что это «хорошо» и есть форма нападения, — но понимала пока умом, не нутром, а нутро отставало и цеплялось за медицину.

Она возвращалась на полигон в сумерках и остановила машину на полпути, у обочины, там, где почва особенно отсвечивала.

Металлический блеск, который она приняла за слюду. Волкова присела на корточки, зачерпнула горсть песка и высыпала на ладонь, к самому шраму. В угасающем свете песчинки были обычными — кварц, полевой шпат, красноватая пыль. Но между ними попадались другие. Мелкие, правильной формы кристаллики, слишком правильные для природы: крохотные многогранники, как обломки геометрии, каждый одинаков с соседом. Она поднесла ладонь к глазам. Кристаллики были не гранёные снаружи — они казались гранёными *изнутри*, будто внутри каждого сложена та же фигура, что и внутри всех остальных.

Она ссыпала образец в пакетик для проб, которых всегда возила с собой десяток, и не поехала дальше, пока не набрала полный. А потом сидела в машине, глядя на пакетик, и её собственный мозг — тот самый инструмент, которым она зарабатывала на жизнь, — вёл себя странно. Ей было тяжело думать в направлении этих кристаллов. Мысль соскальзывала, как палец с имени сына. Она заставила себя, силой, назвать вещь: *что-то в этой почве синхронизировалось с людьми быстрее, чем люди успели проснуться*.

Лабораторный анализ, который она пробила через голову местного начальства к утру, сказал две вещи, и обе были невозможны.

Первое: кристаллы не значились ни в одной минералогической базе. Их решётка была построена на элементах в пропорциях, каких не даёт земная геология. Химик из Лас-Вегаса, которому она отослала спектр, перезвонил в три часа ночи, разбудив её, и сказал в трубку ровно одно слово, прежде чем спохватиться и начать оговариваться: «Внеземное». Потом он говорил про метеорит, про загрязнение образца, про ошибку прибора. Волкова слушала и знала, что первое слово было правдой, а остальное — страх, надевающий на правду ботинки попроще.

Второе было хуже. Она положила образец на предметный столик под датчик и, шутки ради, от усталости, поднесла к нему портативный энцефалограф — тот, которым мерили пациентов. И кристаллы ответили. Слабый, но чёткий электромагнитный отклик, и он менялся, когда она думала. Когда она считала в уме — одно. Когда вспоминала лицо Ильи — другое, сильнее. Пыль в чашке Петри слушала её мозг и отвечала ему, подстраиваясь, как настраивается струна под чужую ноту.

Она отдёргнула руку. Впервые за много лет ей стало по-настоящему, физически страшно — не за карьеру, не за исход, а тем древним страхом, что живёт ниже слов.

Пыль слушала. И там, на полигоне, её было в почве на квадратные мили.

Полковник Рэй Дэвис слушал её, сложив руки на столе, и Волкова, докладывая, всё ждала, что он её перебьёт — «доктор, вы понимаете, как это звучит». Он не перебивал. Это было хуже.

Дэвис был из тех военных, что старятся не рыхлея, а высыхая: жилистый, аккуратный, с седой щетиной, подстриженной по линейке. На столе у него, единственная личная вещь среди уставного порядка, стояла фотография в рамке — девушка лет двадцати, смеётся, щурится на солнце. Он не поворачивал рамку к посетителям, но и не убирал.

— То есть вы утверждаете, — сказал он, когда она закончила, — что мои люди синхронизированы с... внеземным веществом в почве. Через электромагнитную активность мозга.

— Я утверждаю, что данные указывают в эту сторону, полковник. Утверждать большее было бы непрофессионально.

— А по-человечески?

Она встретила его взгляд.

— По-человечески — да. Что-то настраивает ваших людей под себя. Тридцать один мозг сведён в один паттерн. Я не знаю, что это. Но я знаю, чего это *не* есть. Это не токсин, не инсульт, не психоз. Это упорядочивание. И оно продолжается — с каждым днём совпадение линий чище. Их не отравили, полковник. Их... переписывают.

Она думала, он усмехнётся. Военные усмеваются, когда им приносят непонятное, — это способ защиты, она это знала. Дэвис не усмехнулся. Он смотрел на неё с чем-то, чего она сначала не поняла, а поняв, испугалась сильнее, чем в машине с пылью.

Он смотрел с надеждой.

— Переписывают, — повторил он тихо. — А обратно? Прочесть — можно ли прочесть? Достать то, что было записано раньше?

— Полковник?

— Я спрашиваю технически. — Он выпрямился, и надежда ушла с лица так быстро, что Волкова засомневалась, была ли она. — Если мозг можно настроить, доктор Волкова, значит, у него есть настройки. А настройки можно менять. В любую сторону. Вы ведь занимались именно этим. «Колыбель» — так это называлось?

Пол ушёл из-под неё на долю секунды. Она не называла проект. Его не было в её досье под этим именем — проект закрыли, засекретили, стёрли, после того как он убил человека.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.